

Эрих Мария Ремарк

Ночь в Лиссабоне (фрагмент)

1

Я неподвижно смотрел на корабль. Ярко освещенный, он покоился на поверхности Тахо¹, недалеко от набережной. Хотя я уже неделю был в Лиссабоне, я все еще не мог привыкнуть к беспечным огням этого города. В странах, откуда я приехал, города по ночам лежали черные, будто угольные шахты, и свет фонаря в темноте был опаснее, чем чума в средние века. Я приехал из Европы двадцатого столетия.

Корабль был пассажирским судном. Шла погрузка. Я знал, что он должен отплыть завтра вечером. В резком свете обнаженных электрических огней на борт подавали мясо, овощи, рыбу, консервы; рабочие втаскивали багаж, а кран легко и бесшумно подымал, будто невесомые, тюки и ящики. Корабль снаряжался в путь, словно Ноев ковчег.

Что же, это и в самом деле был ковчег. Каждое судно, покидавшее Европу в эти месяцы 1942 года, было ковчегом. Америка высилась Араратом, а потоп нарастал с каждым днем. Он давно уже затопил Германию и Австрию, глубоко на дне лежала Прага и Польша; потонули Амстердам, Брюссель, Копенгаген, Осло и Париж; в зловонных потоках задохнулись города Италии; нельзя было спастись уже и в Испании. Побережье Португалии стало последним прибежищем беглецов, для которых справедливость, свобода и терпимость значили больше, чем родина и жизнь, Того, кто не сможет теперь достигнуть благословенной земли Америки, ждала гибель. Он был обречен истечь кровью в дебрях отказов во въездных и выездных визах, безнадежных попыток добыть разрешение на жительство и работу, в чащах бюрократии, лагерей для интернированных, отчуждения и равнодушия к судьбе одиночки, — вечною следствия войны, страха и нужды. Человек был ничем; надежный паспорт — всем.

¹ Река в Португалии. на которой стоит г. Лиссабон. — *Здесь и далее приеч. пер.*

Сегодня после обеда я пошел в казино «Эсторил» с надеждой выиграть. У меня еще был приличный костюм, и меня впустили. То была последняя, отчаянная попытка подкупить судьбу. Разрешение на пребывание в Португалии у меня и Рут истекало через несколько дней. Никаких виз у нас больше не было. Корабль, что стоял на Тахо, был Последним, с которым мы еще во Франции рассчитывали попасть в Нью-Йорк, однако места на нем были распроданы за несколько месяцев, а у нас не было ни разрешения на въезд в Америку, ни денег; билет стоил свыше трехсот долларов. Я попытался раздобыть деньги единственным возможным здесь способом — в казино. Даже если бы я выиграл, попасть на корабль можно было бы чудом. Но во время бегства и опасности, в отчаянии, как раз и начинаешь верить в чудо: иначе нельзя выжить...

Но у меня ничего не вышло: из шестидесяти двух долларов, что у нас были, пятьдесят шесть я проиграл.

В этот поздний час набережная была безлюдна. Вскоре, однако, я заметил человека, который то бесцельно ходил взад и вперед, то вдруг останавливался и начинал, как я, всматриваться в пароход. Я решил, что он тоже один из потерпевших крушение и не заслуживает внимания. Потом я почувствовал, что он за мной наблюдает.

Страх перед полицией никогда не оставляет эмигранта. Даже во сне. Даже тогда, когда ему нечего бояться. Поэтому я тотчас же повернулся и со скучающим видом человека, который не испытывает никаких опасений, медленно направился прочь от набережной.

Вскоре я услышал позади себя шаги. Я шел все так же, не спеша. Меня только мучила мысль, как известить Рут, если меня арестуют. В конце набережной стояли дома, будто выписанные пастелью, похожие на больших бабочек, уснувших в ночи. Там, в переулках, легко исчезнуть, затеряться. Но идти еще слишком далеко. Если я побегу, меня могут подстрелить.

Человек теперь шел рядом. Он был немного ниже меня ростом.

— Вы немец? — спросил он по-немецки.

Не замедляя шага, я покачал головой.

— Австриец?

Я, не отвечая, смотрел на пастельные дома. Они приближались, но очень медленно. Я знал, что есть португальские полицейские, которые хорошо говорят по-немецки.

— Я не полицейский, — сказал человек.

Я ему не поверил. Он был в штатском, но ведь много раз в Европе меня ловили жандармы в штатском. Правда, сейчас у меня были документы. И неплохие. Их сделал в Париже профессор математики из Праги. И все-таки это была подделка.

— Я видел, как вы рассматривали пароход, — сказал человек. — Поэтому я подумал...

Я окинул его равнодушным взглядом. Он не был похож на полицейского. Однако последний жандарм, который сцапал меня в Бордо, выглядел так жалостно, что походил скорее на Лазаря, пробывшего три дня в могиле. Он оказался самым безжалостным и арестовал меня, хотя знал, что немецкие войска через день будут в Бордо. И я бы погиб, если бы директор тюрьмы не смилостивился и не выпустил меня спустя два часа.

— Хотите в Нью-Йорк? — спросил человек.

Я не ответил. Мне оставалось еще двадцать метров, чтобы сбить его и убежать, если понадобится.

— Вот два билета на корабль, — сказал человек и сунул руку в карман.

При слабом свете я не мог разглядеть протянутые им бумаги. Впрочем, теперь мы уже довольно далеко отошли от набережной, и можно было рискнуть. Я остановился.

— Что все это значит? — спросил я по-португальски. Я знал несколько слов.

— Вы можете их взять себе, — ответил он. — Даром. Мне они не нужны.

— Вам они не нужны? Почему?

— Мне они больше не нужны.

Я уставился на человека, не понимая его. Он и в самом деле не был похож на полицейского. Чтобы арестовать меня, вряд ли требовались такие нелепые трюки. Но если билеты настоящие, почему он их предлагает мне? Хочет продать? Меня затрясло.

— Я не могу их купить, — сказал я наконец по-немецки. — Они стоят целое состояние. В Лиссабоне есть богатые эмигранты. Они заплатят вам сколько захотите. У меня нет денег, вы ошиблись.

— Я не хочу их продавать, — сказал человек.

Я опять взглянул на билеты:

— Они настоящие?

Вместо ответа незнакомец протянул их мне. Я взял и почувствовал, как они захрустели в пальцах. Да, настоящие. Они означали спасение. Без них была гибель. Но ведь я не смогу воспользоваться ими. У нас нет американской визы. Правда, завтра утром можно еще попытаться получить ее или, в крайнем случае, продать билеты и на выручку жить еще целых полгода.

— Я вас не понимаю, — сказал я.

— Вы можете их забрать, — ответил он. — Даром. Завтра утром я уезжаю из Лиссабона. Но ставлю одно условие.

У меня опустились руки. Конечно. Я же знал, что все это не так просто.

— Какое? — спросил я.

— В эту ночь я не хотел бы оставаться один.

— Вы хотите, чтобы я был с вами?

— Да. До утра.

— И все?

— Да, все.

— И больше ничего?

— Больше ничего.

Я с недоверием посмотрел на человека. Да, я, конечно, знал, что люди, подобные нам, иногда не выдерживали и надламывались; у них часто не хватало сил переносить одиночество; странно — они боялись пространства, хотя для них почти не оставалось места в жизни. Я знал, что тогда, вот так же, ночью, оказавшись рядом, кто-нибудь, даже незнакомый, мог удержать человека от самоубийства. Считалось само собой разумеющимся, что люди просто помогают друг другу. Никто не брал за это платы. Тем более — такой.

— Где вы живете? — спросил я.

Он поднял руку, будто защищаясь:

— Туда я не хочу, нет ли здесь кабачка, где можно провести время?

— Наверно, есть.

— Я имею в виду — для эмигрантов. Что-нибудь вроде «Кафе де ля Роз» в Париже?

Я знал «Кафе де ля Роз». Рут и я ночевали там в течение двух недель. Хозяин разрешал, если заказывали кофе. Мы приносили с

собой несколько газет и ложились прямо на полу. Я никогда не спал за столом. Можно упасть. А с пола не упадешь...

— Я не знаю такого заведения, — сказал я.

Я-то знал, но разве можно человека, который дарит билеты на пароход, вести туда, где люди готовы отдать за билет собственный глаз.

— Я знаю тут только один ресторан, — сказал он. — Мы можем попытаться. Может быть, он еще открыт.

Он позвонил такси и посмотрел на меня.

— Хорошо, — согласился я.

Мы сели в машину, и он назвал шоферу адрес. Мне нужно было предупредить Рут о том, что я до утра не вернусь, но тут вдруг, только я сел в теплое, затхлое такси, во мне вспыхнула такая дикая ошеломляющая надежда, что закружилась голова. А может быть, это правда? Может быть, наша жизнь и в самом деле еще не кончилась?

Вдруг свершилось невозможное, и мы спасены? Теперь я уже не решался оставить незнакомца даже на секунду.

Мы объехали Праса де Коммерсио² и попали в путаницу лестниц и переулков, которые вели вверх. Эта часть Лиссабона была мне неизвестна; как и везде, я здесь тоже знакомился главным образом с музеями и соборами — не потому, что любил бога или искусство, а просто потому, что в соборах и музеях не спрашивали документов. Перед распятием и полотнами живописи еще можно было оставаться просто человеком, а не субъектом с сомнительными документами.

Мы вышли из такси и пошли вверх по лестницам и извилистым улочкам. Пахло рыбой, чесноком, ночными цветами, ушедшим солнцем и сном. В стороне

— в ночном небе — вздымалась часовня святого Георга. Выходила луна и свет ее лился водопадом по ступеням лестниц. Я обернулся и посмотрел вниз, на гавань. Там была река, а река — это свобода, жизнь, она впадала в море, а море — это уже Америка. Я остановился.

— Вы не шутите со мной, надеюсь, — сказал я.

— Нет, — откликнулся человек.

— Я говорю о билетах.

² Рыночная площадь

Еще на набережной он опять сунул их в карман.

— Нет, — сказал он. — Я не шучу.

Он показал маленькую площадь, окруженную деревьями.

— Вон там ресторан, о котором я говорил. Он еще открыт. Там мы не будем бросаться в глаза. Это место посещают главным образом иностранцы; нас сочтут за людей, которые утром уезжают и проводят здесь последнюю ночь в Португалии.

Мы вошли. Это был скорее бар, рассчитанный на туристов, с маленькой площадкой для танцев и террасой. Слышалась гитара; в глубине помещения я заметил певицу — исполнительницу фад³. Несколько столиков на террасе было занято. Я заметил женщину в вечернем платье и мужчину в белом смокинге. Мы нашли свободное место в конце террасы. Отсюда виден был Лиссабон — шпили церквей в бледном сиянии, освещенные улицы, гавань, пристани и корабль на реке, ковчег надежды.

— Верите ли вы в загробную жизнь? — спросил человек с билетами.

Я ожидал чего угодно, только не этого вопроса.

— Я не знаю, — ответил я наконец. — В последние годы я был слишком занят вопросом о том, как продержаться в этой жизни. Если я попаду в Америку, то охотно займусь проблемой, о которой вы упомянули.

Последнее я добавил для того, чтобы напомнить о билетах.

— А я не верю, — сказал он.

Я вздохнул. Выслушать какого-нибудь несчастного куда ни шло, но вести философские дискуссии? Нет, на это я сейчас не способен. Мной овладело беспокойство. Внизу, на реке, стоял корабль.

Некоторое время мой сосед сидел так, словно заснул с открытыми глазами. Затем, когда гитарист вышел на террасу, он очнулся и сказал:

— Меня зовут Шварц, по паспорту. Это не настоящее имя. Но я привык к нему, и на эту ночь его вполне достаточно. Вы долго были во Франции?

— Пока можно было...

— Вас интернировали?

— Как и других. Когда началась война.

³ Фад³ – португальские народные песни

Человек кивнул.

— Нас тоже. Я был счастлив, — быстро сказал он вдруг, понизив голос. — Я был очень счастлив, — повторил он, глядя в сторону. — И никогда не думал, что можно быть таким счастливым.

Что-то меня поразило в его словах. Они не вязались с его обликом — с первого взгляда человек производил впечатление ординарного, застенчивого.

— Когда? — спросил я. — Может быть, в лагере?

— В последнее лето.

— В 1939 году? Во Франции?

— Да. В лето перед войной. До сих пор не понимаю, как все это случилось. Мне обязательно нужно кому-нибудь рассказать все. Здесь я никого не знаю. Все повторится еще раз, пока я буду говорить. И может быть, я пойму. И может быть, оно останется. Мне нужно хотя бы еще раз...

Он замолчал.

— Вы меня понимаете? — спросил он через минуту.

— Да, — ответил я и осторожно добавил: — Это нетрудно понять, господин Шварц.

— Нет! Этого нельзя понять! — страстно, с жаром сказал он. — Она лежит там, внизу, в комнате с наглухо закрытыми окнами, в отвратительном дощатом гробу, мертвая! Ее нет больше! Кто может это понять? Никто! Ни вы, ни я. И никто! И если кто скажет, что понимает, — тот покривит душой!

Я молчал, выжидая. Мне уже не раз приходилось вот так сидеть и слушать. Когда у тебя нет родины, потери особенно тяжелы. Нигде не находишь опоры, а чужбина кажется особенно чужой. Я пережил это в Швейцарии, когда получил известие, что мои мать и отец сожжены в концентрационном лагере в Германии. Мне долго представлялись глаза матери в огне крематория. Они преследуют меня и сейчас.

— Я думаю, вы знаете, что такое эмигрантский колер⁴, — сказал Шварц спокойнее.

Кельнер принес блюдо креветок. Я почувствовал острый голод и вспомнил, что с полудня ничего не ел. Я нерешительно взглянул на Шварца.

⁴ Колер – болезнь людей, похожая на бешенство. Ремарк применяет этот термин для характеристики людей, уже не способных контролировать свои поступки.

— Ешьте, ешьте, — сказал он. — Я подожду.

Он заказал вино и сигареты. Я быстро принялся за еду. Креветки были свежие и острые.

— Мне неудобно перед вами, — сказал я, — но я очень проголодался.

Поглощая креветки, я рассматривал Шварца. Он сидел спокойно, без нетерпения и раздражения, и смотрел на город, театрально раскинувшийся внизу. Я почувствовал что-то вроде симпатии. Он, видно, был свободен от фальшивых правил приличия и понимал, что если человек голоден, он будет есть, даже если рядом страдают, и что это нельзя считать бесчувственностью. Если ничем нельзя помочь другому — пусть голодный ест хлеб, пока его не отняли.

Я отодвинул тарелку в сторону и взял сигарету. Я давно не курил — сэкономил деньги для игры.

— На меня нашел колер весной тридцать девятого года, — сказал Шварц. — После пяти лет эмиграции. Где вы были осенью тридцать восьмого?

— В Париже.

— Я тоже. К тому времени я уже был сломлен... Наступило время Мюнхена. Агония страха. Я еще автоматически прятался и защищался, но сил у меня уже не было. Наступит война, придут немцы и возьмут меня. От судьбы не уйдешь. Так я решил и примирился с этим.

Я кивнул.

— Это было время самоубийства. Странно, когда немцы спустя полтора года действительно пришли, самоубийств стало меньше.

— Потом был заключен Мюнхенский пакт, — продолжал Шварц. — Осенью тридцать восьмого многие почувствовали себя так, будто им вновь подарили жизнь. Наступило время страшного легкомыслия. В тот год в Париже второй раз зацвели каштаны. Я дошел до того, что ощутил себя человеком, и за это, конечно, пришлось поплатиться. Меня схватили и посадили на четыре недели за неоднократный въезд в страну без разрешения. Затем началась старая игра: под Базелем меня выставили за границу; швейцарцы отослали меня обратно. Французы в другом месте опять выгнали... Вы знаете эту шахматную игру, в которой фигурами служат люди?..

— Знаю. Зимой это не шутка. Самые лучшие тюрьмы, между прочим, в Швейцарии. Тепло, как в гостинице.

Я снова принялся за еду. В неприятных воспоминаниях есть одна хорошая сторона: они убеждают человека в том, что он теперь счастлив, даже если секунду назад он в это не верил. Счастье — такое относительное понятие! Кто это постиг, редко чувствует себя совершенно несчастным. Я был счастлив даже в швейцарских тюрьмах, и только потому, что они были не немецкие.

Сейчас передо мной сидел человек, уверяющий, что он был счастлив; а в это самое время у него где-то в Лиссабоне, в затхлой комнате, стоял дощатый гроб...

— В последний раз, отпуская, мне пригрозили, что если я попадусь без документов еще раз, меня вышлют в Германию, — продолжал Шварц. — Это была только угроза, но она напугала меня. Я невольно стал думать, что мне делать, если это и в самом деле случится. По ночам мне снилось, будто я уже там и за мной охотятся эсэсовцы. Сны стали повторяться так часто, что я уже боялся ложиться спать. Вам это знакомо?

— Я мог бы написать об этом докторскую диссертацию, — ответил я. — Печально, но факт.

— Однажды ночью мне приснилось, что я в Оснабрюке, где жил когда-то и где осталась моя жена. Будто я стою в ее комнате и вижу ее, худую и бледную. Она больна, по щекам ее текут слезы. Я проснулся с тяжелым сердцем. Более пяти лет я не видел ее и ничего о ней не слышал. Я никогда не писал ей, опасаясь, что за ней следят. Перед моим бегством она пообещала мне подать заявление о разводе. Это избавило бы ее от многих неприятностей. Некоторое время я был уверен, что она так и сделала.

Шварц замолчал. Я не спрашивал, почему он бежал из Германии. Причин хватало, и ни одну из них нельзя было назвать интересной — они были несправедливы. Никогда не интересно быть жертвой. Он мог быть евреем или принадлежать к политической партии, враждебной нынешнему режиму. У него могли оказаться враги, ставшие влиятельными. Существовали десятки причин, по которым в Германии можно было погибнуть или оказаться в концентрационном лагере.

— Мне удалось опять попасть в Париж, — снова заговорил Шварц. — Но сны меня не оставляли. Они возвращались снова и снова. К этому времени успели развеяться все иллюзии

Мюнхенского соглашения. К весне стало ясно, что война неизбежна. Запах ее стоял в воздухе, как запах пожара, который чувствуешь раньше, чем увидишь зарево. И только международная дипломатия беспомощно закрывала глаза и предавалась приятным снам — о втором или о третьем Мюнхене — о чем угодно, только не о войне. Никогда не было такой веры в чудо, как в наше время, чуждое всяким чудесам.

— Иногда они все-таки бывают, — возразил я. — Иначе нас давно не было бы на свете.

Шварц кивнул.

— Вы правы. Частные чудеса. Я сам пережил такое. Оно началось в Париже. Я вдруг унаследовал настоящий, не фальшивый паспорт. На нем стояло имя Шварца, он принадлежал одному австрийцу, с которым я бывал в «Кафе де ля Роз». Он умер и оставил мне паспорт и деньги. В Париже он пробыл всего три месяца. Я познакомился с ним в Лувре, у картин импрессионистов, где проводил целые вечера. Это успокаивало. Когда я стоял перед тихими, наполненными солнцем пейзажами, не верилось, что двуногое существо, создавшее все это, в то же время могло готовить разбойничью войну. Не верилось. И эти иллюзии на час, на два снижали бешеное давление крови.

Человек с паспортом на имя Шварца часто сидел перед картинами Моне. На них мерцали лилии, высились громады соборов. Мы разговорились, и он рассказал, что после захвата Австрии фашистами ему удалось вырваться на свободу и покинуть страну. Правда, он потерял все состояние — большое собрание полотен импрессионистов. Оно было конфисковано, но он не жалел об этом и сказал мне, что пока в музеях можно любоваться картинами, он их считает своими и к тому же не испытывает опасений, что они сгорят или могут быть украдены. Кроме того, во французских музеях выставлены такие шедевры, каких у него не было и в помине. Раньше он, словно заботливый папаша, был привязан к своей коллекции, которую берег и считал лучшей на свете. Теперь ему принадлежат все картины в публичных собраниях, и ему не надо о них заботиться.

Это был чудесный человек, тихий, кроткий и веселый, несмотря на все, что ему пришлось пережить. Он почти совсем не смог захватить с собой денег, но ему удалось спасти несколько старых почтовых марок. Марки спрятать легче, чем бриллианты. А

с бриллиантами может выйти очень плохо, если они спрятаны в ботинках и вас ведут на допрос. Их трудно продать — начинаются расспросы, и в конце концов вам предложат мизерную цену. А почтовыми марками интересуются филателисты, которые ни о чем не спрашивают.

— Как он их провез? — спросил я с профессиональным интересом эмигранта.

— Он взял старые, затрепанные письма и засунул марки за подкладку конвертов. Таможенные чиновники просматривали письма, а на конверты и не смотрели.

— Ловко, — одобрил я.

— Кроме того, он взял с собой два маленьких карандашных портрета Энгра. Он прикрепил их на широчайшие паспарту, вставил в безвкусовые рамки фальшивого золота и заявил, что это портреты его родителей. На паспарту, кроме того, с обратной стороны, он незаметно приклеил два рисунка Дега.

— Ловко, — повторил я.

— В апреле у него случился сердечный приступ. Он передал мне свой паспорт, оставшиеся марки, рисунки, а также адреса людей, покупавших марки. Когда я на следующее утро пришел к нему, он лежал в кровати мертвый, неузнаваемый. Я взял деньги, которые у него еще оставались, костюм, немного белья. Он сам накануне велел мне сделать это, если умрет: пусть лучше все попадет товарищу по несчастью, чем хозяину.

— Вы кое-что изменили в паспорте? — спросил я.

— Только фото и год рождения. Шварц был на двадцать пять лет старше. Звали его так же, как и меня.

— Кто вам это сделал? Брюннер?

— Какой-то человек из Мюнхена.

— Это Брюннер. Специалист по паспортам.

Брюннера хорошо знали эмигранты. Он был мастером исправлений в паспортах, многим помог, но у самого, когда схватили, не оказалось никакого документа. Его погубила суеверная мысль. Он хотел быть честным благодетелем для других и верил, что пока он не делает ничего для себя, с ним ничего не случится. До эмиграции у него была небольшая типография в Мюнхене.

— Где он теперь? — спросил я.

— Разве не в Лиссабоне?

Этого я не знал. Впрочем, может быть, он и здесь, если еще жив.

— Я почувствовал себя как-то странно, когда у меня оказался паспорт, — сказал Шварц номер два. — Я не решался им пользоваться. Пока не привык к своей новой фамилии. Я твердил ее все время. Бродил по Елисейским полям и без конца повторял слово «Шварц» и новую дату моего рождения. Я сидел в музее перед картинами Ренуара и — если был один — вел шепотом воображаемый диалог; резким голосом: «Шварц!» И тут же, вскакивая, быстро отвечал: «Здесь!». Или же бурчал: «Фамилия!» — и вслед за этим автоматически выпаливал: «Иосиф Шварц. Место рождения — Винер Нейштадт, 22 июня 1898 года». Даже вечером, прежде чем заснуть, я тренировал себя. Я боялся, что если какой-нибудь полицейский ночью вдруг разбудит меня, я могу в полусне сказать не то, что надо. Я хотел забыть свою старую фамилию. Оказалось, что это далеко не одно и то же — совсем не иметь паспорта или жить под чужим именем. Чужой паспорт казался опаснее.

Вскоре я продал оба рисунка Энгра. Мне дали за них меньше, чем я ожидал. И все-таки у меня вдруг оказались деньги, каких я давно уже не держал в руках.

Потом, как-то ночью, мне пришла в голову одна мысль, от которой я уже не мог освободиться. А нельзя ли мне поехать с этим паспортом в Германию? Ведь он настоящий! И неужели каждый на границе возбуждает подозрения? Я мог бы повидать жену. Мог бы избавиться от опасений за ее судьбу. Мог бы...

Шварц посмотрел на меня.

— Вы ведь все это, наверно, знаете. Эмигрантский колер в чистейшей форме. Спазмы в желудке, в горле, зуд в глазах. То, что на протяжении пяти лет ты затапывал в землю, что пытался забыть, чего боялся, как чумы, — снова подымалось: смертельные воспоминания, неизлечимый рак души любого эмигранта.

Я попытался освободиться от колера, по-прежнему уходил к картинам мира и тишины, к Сислею, Писсаро и Ренуару, часами сидел в музее, но теперь все это действовало на меня совсем иначе. Картины больше не успокаивали. Наоборот, они звали, вопили, напоминали о стране, еще не опустошенной коричневой проказой, о вечерах в тихих переулках, где над стенами свешиваются гроздья сирени, о золотых сумерках в старом городе, о зеленых

колокольнях церковей с реющими вокруг ласточками и — о моей жене.

Я обычный человек, лишенный каких-нибудь особых качеств. Я прожил с женой четыре года, как живут многие: без ссор, приятно, но и без больших страстей. После первых месяцев у нас началось то, что называют счастливым браком: отношения двух людей, решивших, что уважение друг к другу — основа совместного уютного бытия. Мы не тосковали по несбыточным снам. Так, по крайней мере, казалось мне. Мы были разумные люди и сердечно любили друг друга.

Теперь же все сдвинулось. Я обвинял себя в том, что устроил такой ординарный брак и все просмотрел. Зачем я жил? Что я делаю теперь? Уполз в нору и жую жвачку. Долго ли еще это будет тянуться и чем кончится? Наступит война, за ней победа Германии — единственной страны, вооруженной до зубов. Что будет тогда со мной? Куда ползти, чтобы спасти жизнь? В каком лагере придется умирать от голода? У какой стены, — если я окажусь настолько счастливым, — меня убьют выстрелом в затылок?

Вот так паспорт, который должен был меня успокоить, приводил меня в отчаяние. Я бегал по улицам, чуть не падая от усталости, не мог спать, а если засыпал, просыпался от снов. Я видел жену в камере гестапо; я слышал ее крики о помощи из заднего двора гостиницы; однажды, войдя в «Кафе де ля Роз», увидел ее лицо в зеркале, наискось висевшем напротив двери. Она бегло посмотрела на меня — бледная, с печальными глазами — и тут же исчезла. Это было так явственно, что я подумал — она здесь — и быстро кинулся в другой зал. Зал, как всегда, был полон, но ее не было.

Это превратилось в навязчивую идею; меня не оставляла мысль о том, что она тоже эмигрировала и теперь разыскивает меня. Сотни раз я видел, как она заворачивала за угол или сидела на скамейке в Люксембургском саду, но когда я подходил, ко мне поднималось чужое удивленное лицо. Однажды она пересекала площадь Согласия — как раз перед тем, как гудящий поток машин сорвался с места, — и уж на этот раз в самом деле была она! Ее походка, ее манера держать плечи! Я даже узнал ее платье. Однако, когда полицейский, наконец, остановил лавину автомобилей и я

смог броситься вслед, оказалось, что она исчезла, ее поглотило зияющее отверстие подземки⁵.

Когда я, наконец, добрался до перрона, то увидел только издевательское мигание красных хвостовых огней отошедшего поезда.

Я рассказал о своих мучениях одному знакомому. Его звали Лезер, он торговал чулками, а раньше врачевал в Бреслау. Он посоветовал мне избегать одиночества.

— Заведите себе женщину, — сказал он.

— Это не помогло. Вы знаете отношения, продиктованные необходимостью, одиночеством, страхом. Бегство к маленькому теплу, к чужому голосу, телу, и пробуждение — словно от падения — в каком-нибудь жалком помещении, и чувство чужой страны, и безутешная благодарность дыханию, что слышится рядом. Но разве все это может сравниться с бешенством фантазии, которая сушит кровь и заставляет человека просыпаться по утрам с горьким ощущением загубленной жизни?

Я рассказываю теперь и вижу, что все выглядит бессмысленным и противоречивым. Тогда было не так. После всех метаний оставалось одно, непреложное: я должен вернуться. Я должен еще раз увидеть жену. Может быть, она давно уже живет с другим. Все равно. Я должен ее увидеть. Слухи о войне усиливались. Все увидели, что Гитлер сразу же нарушил обещание занять только Судеты, а не всю Чехословакию. Теперь то же самое началось с Польшей. Война надвигалась. Союз Польши с Англией и Францией делал ее неизбежной. Только теперь это уже было вопросом не месяцев, а недель. И для моей жизни — тоже. Я должен был решиться. И я сделал это. Я собрался ехать в Германию. Что будет потом, я не знал. Я был готов на все. Если начнется война, думал я, то все равно пропадать. Я будто сошел с ума.

В конце концов мной овладело какое-то странное веселье. Стоял май. Клумбы на Круглой площади покрылись пестрым ковром цветущих тюльпанов. Ранние вечера уже расстилали серебристый импрессионистский покров, фиолетовые тени и светло-зеленое небо над холодным светом первых уличных

⁵ Большинство парижских станций метро не имеет надземных строений

фонарей, над бегущими красными линиями световых газет на зданиях редакций, которые грозили войной каждому, кто их читал.

Сначала я поехал в Швейцарию. Я хотел проверить свой паспорт на безопасной почве, чтобы окончательно уверовать в него. Французский таможенник вернул его мне с равнодушным видом. Я этого и ожидал: выезд затруднен только из стран с диктаторскими режимами. Все же, когда ко мне подошел швейцарский чиновник, я почувствовал, как во мне что-то сжалось. Правда, я сидел со спокойным видом, но в то же время мне показалось, будто внутри у меня неслышно затрепетали края легких — так иногда во время затишья на дереве вдруг быстро затрепещет какой-нибудь листочек.

Чиновник взглянул на паспорт. Высокий, широкоплечий. От него пахло табаком. Стоя в купе, он заслонил окно, и на мгновение у меня замерло сердце. Мне показалось, что он отрезал от меня небо и свободу и купе уже превратилось в тюремную камеру.

Он вернул мне паспорт.

— Вы забыли поставить печать, — быстро сказал я, испытывая облегчение.

— Пожалуйста. Для вас это так важно?

— Нет. Просто своего рода сувенир.

Он поставил на паспорте печать и ушел. Я закусил губу. Каким я стал нервным! Потом мне пришло в голову, что паспорт с печатью выглядит убедительнее.

В Швейцарии я целый день провел в размышлении, не поехать ли мне в Германию поездом. Но у меня не хватило мужества. Я еще не знал, как относятся к выходцам из бывшей Австрии и не подвергают ли возвращающихся на родину особой проверке. Наверно, ничего особенного не было. Но все же я решил перейти границу нелегально.

В Цюрихе я, как обычно, прежде всего отправился на почтамт. Там, большей частью у окошечка корреспонденции до востребования, встречались знакомые эмигранты, у которых можно было узнать новости. Оттуда я пошел в кафе «Кондор», отдаленно похожее на «Кафе де ля Роз» в Париже. Я видел многих, перешедших границу, но никто из них не знал мест перехода в Германию. Это было естественно; все шли оттуда. Кто, кроме меня, хотел перебраться туда? Я видел, какие взгляды бросали на меня, когда заменили, что я настроен серьезно, меня стали чуждаться.

Ведь тот, кто хотел вернуться, мог быть только перебежчиком, сторонником нацистов. Что можно было ждать от того, кто собирался туда? Кого он выдаст? Что предаст?

Я вдруг очутился в одиночестве. Меня сторонились, как сторонятся убийцы. И я ничего не мог объяснить. Меня самого иногда бросало в жар при мысли о том, что мне предстояло. Как же тут объяснить другим то, чего я не понимал сам?

Конец ознакомительного фрагмента

Эту книгу Вы можете взять:

- в отделе абонемента по адресу г. Оренбург, ул. Правды, 7
- в читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20.

Получить доступ к электронной версии книги Вы можете в электронном читальном зале нашей библиотеки по адресу г. Оренбург, ул. Советская, 20, 2 этаж.